

# Выход или тупик?

**В. Белов. Повесть об одной деревне**

Вологда, «Книжное наследие», 2003

**Б. Рыжий. На холодном ветру**

СПб., Пушкинский фонд, 2001

**Рубен Давид Гонсалес Гальего. Белое на черном**

СПб.—Москва, Лимбус-пресс, 2004

**Э. Лимонов. Книга воды**

М., «Ад маргинем», 2002

повседневном, отнюдь не целеустремленном, а уж скорее разбросанном чтении часто сталкиваются разные, совсем не сходные и не сродные книги. Но порой вдруг обнаруживаешь неожиданный, соединяющий их всех «интеграл» — в прикосновении, хоть и с разных сторон, к глубинным проблемам и вопросам жизни. А их ведь не так много: как жить, чем жить и, из самой сути, — зачем жить.

«Повесть об одной деревне» Василия Белова продолжает ряд картин деревенской жизни, которые представлены были предыдущими работами писателя. Вернее, возобновляет этот ряд, прерванный на какое-то время книгами, уходившими в глубь истории русской деревни, в трагическую для нее пору коллективизации («Кануны»), либо — книгами о городе. К городской жизни, «городским» идеалам и обиходу писатель был пристрастно строг: именно оттуда шло, мол, все разлагающее деревенскую жизнь — от мини-юбок и «дергательной» музыки до разорительных затей «демократов» и инородцев.

Как ни странно, в новой работе разоблачительный пафос писателя много сдержаннее. Ну помянет он «иконников-грабителей, обирающих простодушных сельских бабушек; съязвит по адресу шарлатана-нарколога (к этой категории специалистов у писателя почему-то особыя неприязнь); ругнет Ельцина. Но все-таки основное внимание писателя направлено в сторону, как сказали бы в прежние годы, «позитивно прекрасного». Не поднимается это прекрасное на котуры или даже на цыпочки, не выражает много о себе — но проявляется то в застенчивой заботе о соседе, то в острой шутке, даже и «непечатной»... Пустеет и слабеет деревня; и потому, может быть, самые отрадные страницы, самые светлые — про «прошлое»: как работали в войну «на окопах» и как с этих «окопов» удирали, как пели и веселились в молодости, — хоть пора-то не сильно была веселая.

И все же и в сегодняшней деревенской жизни, и атакуемой, как кажется писателю, со всех сторон чуждыми, злыми силами, и надорванной десятилети-

ями большевистских экспериментов, есть нечто, ее поддерживающее и жизнеспособное. Хотелось бы сказать: внушающее надежду; но ее свет — еще не отчетлив. Сколько ни поминай, каких обещаний большевики надавали да не выполнили, одно, не виданное нигде в мире, им удалось — если не целиком уничтожить, то лишить самодвижущей, творческой силы, духовной, экономической и социальной, — русское крестьянство. Когда набегающие сегодня времена от времени социологи опрашивают оставшихся о направлении жизни, самое частое слово в ответ: выживаем.

А что же все-таки поддерживает? Власть ли это земли (не единожды отбираемой), сила ли традиций (как их ни осмеивали и ни старались заменить «новым советским бытом»), родственные ли скрепы — но и сегодня, как показывает писатель, «роевой», единящий дух живет в старицах, и в новой поросли, совсем малой (молодых на всю деревню — один-двоих).

В одной из прежних повестей Белова есть такая знаменательная сцена: два старика (а третий — рассказчик) за вином начали вспоминать прежние свои годы. Один, что называется, «Олеха-простота», настрадавшийся и в коллективизацию, и войну, и после. А второй — «активист» Авенир, и этот строитель будущего много навредил землякам своим — ну и самому Олехе. Вспоминали, вспоминали — и разодрались. Рассказчик ушел от греха подальше, а когда вернулся, увидел, что старики не то что не убили друг друга, — сидят, обнявшись, и поют что-то старинное, из давних, до всех распрай, лет.

А возможно ли это «роевое», единящее людей сознание «вне земли»? Во всяком случае, то, что мы видим в сегодняшней жизни, — чаще единение «против». Против чужаков, против иноверцев, против тех, кто не так беден, как я. Они, «другие», исключаются порой даже из разряда «людей» — и чего, мол, тут еще понимать? Конечно, и непонимание, неприятие, ненависть тоже могут быть соединяющей силой (и сколько тому примеров!). Но только не созидающей...

**C**ледующая книга — другого склада, другого настроения, про другую жизнь. Борис Рыжий полжизни прожил в Свердловске, а вторую половину — в Екатеринбурге. Там окончил университет, там начал печататься (а вскоре и в столицах), получил одну из литературных премий, увидел свои стихи и отдельной книгой. Успевал и по университетской геофизической специальности, напечатал несколько научных

работ. И — покончил с собой в мае 2001 года, двадцати семи лет...

Тайна самовольно выбранной и собственноручно исполненной смерти притягивающе и необъяснимо озадачивает. И по житейской привычке все объясняют мы начинаем искать «подталкивающие обстоятельства» — как будто есть незадачи и передряги, способные перевесить саму жизнь, во всей ее полноте...

Глубже всех об этом сказал Пастернак в книге «Охранная грамота», обдумывая смерть Маяковского: самоубийству как действию предшествует полное и необратимое отъединение — не только от всех «других», но и от самого себя.

Есть и еще одна сторона: поэт Борис Рыжий (судим по стихам...) жил, словно бы никогда не забывая замечания одного его собрата по перу: «может быть, самое интересное в жизни — это смерть...» Есть у него такая строчка: «...за ночь жить так просто разучиться...»; смерть возникает в очень многих его стихах — то как будущее; то стоящая рядом; отвергаемая — и почти что желанная.

Но мы не зря назвали здесь город Бориса Рыжего двумя именами — вчерашним (и давним) и сегодняшним. Обстоятельства места и времени не сбрасываешь со счетов. Поэт (тоже, увы, покойный) Александр Тихомиров придумал в свое время слово «полугород». Это не про «населенный пункт районного значения», а про воплощение стоящегося социализма. Не будем хаять город Свердловск (тем более, что мы вообще его не видели), но в стихах Бориса Рыжего он предстает именно таким — без прошлого и без будущего:

В Свердловске живущий,  
Но русскоязычный поэт,  
Четвертый день пьющий,  
Сидит и глядит на рассвет.  
Промышленной зоны  
Красивый и первый певец  
Сидит на газоне,  
Традиции новой отец.  
Следит за погрузкой  
Песка на раздолбаный ЗИЛ —  
Приемный, но любящий сын  
Поэзии русской...

Эта смесь иронии по отношению к себе, жалости к миру, ощущения его мгновенной, пролетающей прелести придает стихам Бориса Рыжего проникающую, пронзительную особость... Вот хотя бы:

Не вставай, я сам его укрою,  
Спи, пока осенняя звезда  
Светит над твою головою  
И гудят сырье провода.  
Звоном тишину сопровождают,  
Но стоит такая тишина,

Словно где-то четко понимают, Словно чья-то участь решена. Этот звон, растягивая, снова Стягивая, можно разглядеть Музыку, забыться, вставить слово. Про себя печальное напеть...

Нечто знакомое — по интонации, по «звукам» — слышится в этих стихах. Конечно, Георгий Иванов: отзвуки внимательного его чтения заметны в книге. Но созвучность — большая, созвучность душевного состояния: эмигрантской отстраненности (поневоле!) от далекой России и безнадежной отстраненности от нее, невыносимо близкой. И талан (а это, если вы помните, на старом русском — судьба) оказался разный: наш «Георгий Иванов из микрорайона» — судьбой своей распорядился сам...

**О**б этой книге говорить нестерпимо трудно: любые слова покажутся пустыми по сравнению с тем, как она написана, а главное — с той жизнью, которая в ней предстает.

Судьба Рубена Давида Гонсалеса Гальего может показаться выдумкой злого чародея или, по крайности, немыслимым воплощением в реальность какого-нибудь «черного романа». Он родился от недолгого брака революционного латиноамериканца и дочери генерального секретаря испанской коммунистической партии. Родился — в Советском Союзе. Родился — тяжело больным. И то ли тогдашние наши «руководители международного коммунистического движения» хотели насолить испанцу (он был из так называемых «еврокоммунистов»), то ли это произошло по какой-то иррациональной глупости, но Авроре Гальего сказали, что ее сын умер. Она вскоре уехала из СССР, а сын ее был отправлен скитаться по детским инвалидным домам (почти в каждом из которых слышал, что мать, «черножопая сука», его бросила) с перспективой попасть уже во взрослый инвалидный дом, где он, неходячий, вскоре бы и умер, как умерли многие его товарищи по «счастливому детству в стране социализма»...

А он — не умер. И написал книгу, сила которой — в глубинной, внутренне выстраданной и прожитой правдивости.

В этой книге (получившей букволовскую премию за минувший год) есть глава, которая называется «Мечты». О том, как совсем маленьким Рубен мечтал о маме, а потом понял: он никому не нужен. Как мечтал встать на ноги — в самом буквальном смысле этих слов, — а потом понял: этого никогда не будет. Как мечтал (пусть будет от него хоть какая-то польза!): пусть посадят его в ракету-торпеду, и он обрушится на врагов, станет камикадзе. Действительно, с безрассудностью и отвагой камикадзе он сражался и за жизнь, и против нее — против той очевидной (ничего иного, как сказали бы детдо-

мовцы, ему и не светило) ее однозначности, с жалкой смертью в конце.

Среди пронзительных глав этой книги есть одна, на которой буквально замирает сердце. Герой ее попал туда, где по всем статьям и предстояло ему кончить жизнь — в дом престарелых. Где только умирают: «Дедушка, бывший заключенный, проломил костылем голову соседу по палате. Бабушка, заслуженный ветеран труда, повесилась в стенной шкафу. Женщина в инвалидной коляске съела горсть снотворных таблеток... чтобы навсегда покинуть этот правильный мир...» А он? «...Я выписываю в тетрадку неправильные английские глаголы... Неправильный человек в правильном мире, я упорно учу английский язык...»

Это потом, когда наступит «перестройка», Рубену пригодится английский язык, и Америку он увидит. А тогда... Но, видимо, если человек на «флаге своей судьбы» пишет «Только жизнь!», — любое достижение, любая победа, пусть без всякого видимого практического смысла, продвигает в эту жизнь: еще одна отвоеванная пядь земли.

А опора? Только в себе? «Учителя рассказывали мне о дальних странах, о том, как жизнь прекрасна и каждому найдется место на земле, если хорошо учиться и слушаться старших. Они всегда лгали. Лгали все. Не лгали только нянечки... Обычные сельские тетки. Они не вралы никогда... Они были верующими. Все». И вот тут мы вдруг осознаем, как протягивается нить от того, «речевого», полуразрушенного, но не для себя только живущего мира «по Белову», к одинокой судьбе ребенка...

**П**осле чтения «Белого на черном» книга Эдуарда Лимонова выглядит невыигрышно: хотя он и считается в литературных кругах крепким профессионалом, сразу замечаешь, как много в тексте излишних, а то и просто ненужных слов. Хотя сам замысел занятен: рассказать о всех тех морях-океанах, речках и ручейках, куда «приводила жизнь». Впрочем, можно было бы взять любую из семи книг, написанных им за последние годы, — все они гораздо больше о нем самом, чем о чем-либо другом. Но тут возникает вопрос оценки: в какой мере адекватны самой реальной личности эти образы в зеркалах прозы или стихов? Но можно и так судить, что нам, читателям, это, в сущности, и не важно: значимо и интересно само повествование — и ладно; а насколько «выдумал себя» автор — это его дела... Одно можно заметить: дистанция между героем книги, в данном случае «Эдичкой», и автором существует всегда; без нее и разглядеть себя, и «описать» — попросту невозможно.

И еще одно соображение возникает при чтении «Книги воды». Известно, что каждый возраст жизни вносит свой вклад в становление личности;

а если что-то недовнесено, это грозит личности явным ущербом. А может быть и так, что детское не пережито по-настоящему, спряталось под взрослыми оболочками и одеждами. Когда в начале прошлого века известный мистик (и мистификатор) Георгий Гурджиев проводил опыты по «определению истинного духовного возраста», оказывалось, что какому-нибудь директору департамента по этому показателю — лет семь, а приват-доценту — и вовсе три...

Лимонов известен всем — своими воинственно-парадоксальными декларациями, шумными выходками его юных «нацболов», наконец тем, что, раздразнив-таки власть, заставил обратить на себя ее специфическое внимание — попал в тюрьму, где за два слишком года и написал свои семь книг.

«Прочитав первые сорок страниц рукописи, я нашел только войну и любовь», — пишет он о своей книге. И верно: про войну и про любовь там побольше, чем про моря-океаны..... И дальше, в том же духе: «...я уже давно знал, что мне нравятся разрушенные города...» Но вот что странно (а в итоге — так и отрадно): в книге Лимонова нет, в сущности, ни злобы, ни агрессии — в ней нет врага. И тут понимаешь, что в образе воинственного Эдички идет доигрывание детской недоигранной «войнушки», со всеми ее понарошку «убитыми» и «пленимыми». Впрочем, не стоит только смотреть на это снисходительно: мол, чем бы дитя ни тешилось... Из работ психологов минувшего века (вспомним хотя бы замечательную книгу Э. Берна «Игры, в которые играют люди») мы знаем, что такие игры действительно серьезны; и ставкой в них нередко оказывается жизнь. Да и самого Лимонова взять — он за свою «войнушку» заплатил все ж тюрьгой...

И есть тут один небезопасный момент: пока человек играет сам с собой — его дело; но когда вовлекает «малых сих» — уже дурно: повторствует слабость. Слабость же вот в чем: молодому человеку невероятно трудно конструктивно ориентироваться во взрослой жизни; в сегодняшней ее сумятице — вдвойне. А свергнуть все «ради революции» — соблазнительно просто, и вот отсюда энтузиазм юных лимоновских приверженцев. Они-то ведь не играют, они защищаются от непосильной сложности жизни. А защита так легко переходит в нападение.

**В**от так услышалась в этих столь разных книгах общая домината: что есть жизнь и как с ней обходиться. Думается, Рубен Гальего сумел показать, что самый неблагоприятный, самый безысходный ее жребий — все же не безысходен и дает возможность преодоления. А «игры жизни» — путь хоть и более доступный, но ведущий во мнимость.

В. Рыбаков